

Теодор В. АДОРНО

MINIMA
MORALIA

Размышления
из поврежденной
жизни

AL
NO

Теодор Адорно

**Minima Moralia. Размышления
из поврежденной жизни**

«Ад Маргинем Пресс»

1951

УДК 14(430)
ББК 87.3(4Гем)6-754

Адорно Т.

Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни /
Т. Адорно — «Ад Маргинем Пресс», 1951

ISBN 978-5-91103-603-4

Впервые на русском языке выходит книга выдающегося немецкого мыслителя XX века Теодора Адорно (1903–1969), написанная им в эмиграции во время Второй мировой войны и в первые годы после ее окончания. Озаглавленная по аналогии с «Большой этикой» («Magna moralia») Аристотеля, эта книга представляет собой отнюдь не систематический философский труд, а коллекцию острокритических фрагментов, как содержание, так и форма которых отражают неутешительный взгляд Адорно на позднекапиталистическое общество, в котором человеческий опыт дробится, рассыпается и теряет всякие ориентиры. Выходом из этого положения должно быть, по мысли автора, интеллектуальное сопротивление – как нацизму, так и капиталистической культурной индустрии. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 14(430)
ББК 87.3(4Гем)6-754

ISBN 978-5-91103-603-4

© Адорно Т., 1951
© Ад Маргинем Пресс, 1951

Содержание

Кирилл Чепурин	6
Посвящение	8
Часть первая	11
Конец ознакомительного фрагмента.	26
Комментарии	

Теодор Адорно
Minima Moralia. Размышления
из поврежденной жизни

The translation of this work was supported by the Goethe-Institute.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1951

All rights reserved by and controlled through Suhrkamp Verlag Berlin

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2022

* * *

Кирилл Чепурин

Невозможность мира

Minima moralia (Малая этика) Теодора Адорно – книга, которая смещает привычную оптику взгляда и мысли. Фрагментарность этой книги программна. Опубликованная в 1951 году и составленная из заметок и афоризмов, написанных большей частью в эмиграции в США во время и непосредственно после Второй мировой войны, *Minima moralia* самой своей формой будто осуществляет деконструкцию «тотального государства» и «тотальности» современной массовой культуры, ставшей индустрией¹. В то же время эта книга представляет собой нечто большее, чем собрание пронизательных критических фрагментов о литературе, культуре и философии. Несводима она и к уже ставшему общим местом «критической теории» сочетанию критики тоталитаризма и капитализма – сочетанию, проистекающему у Адорно из критики буржуазной культуры (начиная с эпохи Просвещения) и одновременно пронизанному чувством утраты и явной ностальгией по высоким образцам этой культуры. *Minima moralia* – это одна из редких книг, которая учит тому, чтобы не принадлежать целиком миру как он есть.

Тем самым это не только «книга-сирена» (по выражению Роберто Калассо), увлекающая читателя необычностью и глубиной философского анализа, это еще и книга-отказ, говорящая *нет* невыносимой негативности мира, а также книга-утопия, обнажающая зазор, через который просвечивает свобода от требований мира. Несмотря на ее фрагментарность и открытость нелинейному чтению, *Minima moralia* нужно хотя бы раз прочитать от начала до конца. Только внимательное следование композиции книги позволяет понять, почему Адорно заканчивает ее не просто более абстрактными философскими фрагментами, а указанием на избавление (Erlösung) как точку, где замыкается диалектический круг философской мысли, но и где истинная философия важным образом *начинается*: «Единственной философией, за которую перед лицом отчаяния можно нести ответственность, была бы попытка рассматривать все вещи так, какими они представлялись бы с позиции избавления».

Мотив избавления не только сближает мысль Адорно с мыслью его друзей и соратников Вальтера Бенямина и Гершома Шолема. Избавление указывает на тот утопический зазор, ту утопическую дистанцию мысли по отношению к миру, которая служит истоком и пределом негативности самой мысли, того, что Адорно назвал «негативной диалектикой», или диалектикой, предпочитающей синтезу свободу от синтеза, свободу от вписывания единичного в тотальность всеобщего. В гегельянской традиции, которой следует Адорно, мысль негативна, поскольку мыслить – значит отрицать наличное положение вещей и выходить за его пределы. Только в таком отрицании рождаются постижение и свобода. Постепенно, фрагмент за фрагментом, Адорно в *Minima moralia* показывает, как мысль рождается из мира и в неразрывной связи с миром, но, будучи негативной по отношению к миру, никогда не принадлежит ему целиком. Этот зазор мысли позволяет обнажить раны мира и деабсолютизировать тотальность притязаний, которые мир предъявляет человеку. Адорно сам словно бы обитает в этом зазоре, в своего рода не-месте (одно из значений слова «утопия») между нацистской Германией, которую он покинул, и капиталистической Америкой, которую он не смог принять. Это придает тексту *Minima moralia*, написанному из не-места по отношению к миру, особую утопическую напряженность.

Адорно – марксист, пусть и не целиком ортодоксальный, и оптика избавления – это материалистическая оптика, но особого толка. Это, можно сказать, непроизводственная оптика,

¹ См. также: Хоркхаймер М., Адорно Т. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс / пер. Т. Зборовской. М.: Ad Marginem, 2016.

направленная против продуктивности и освобождающая вещи от императива производства, от вписанности в какую бы то ни было индустрию. Оптика избавления оставляет как единичного человека, так и единичные вещи в их свободе, без стремления их ассимилировать, овладеть ими, заставить их работать. В то же время именно потому, что Адорно – марксист, эта негативная утопическая оптика рождается у него изнутри бесконечной негативности XX века, одновременно как отражение этой негативности и как протест против нее.

Оптика избавления утопична или атопична, поскольку она не принадлежит миру, но это никоим образом не оптимизм. В ее основе – фундаментальный антагонизм. Это и антагонизм по отношению к миру непрерывного труда, труда как самоцели, которому Адорно противопоставляет блаженство воскресного дня, блаженство Бога в седьмой день творения. И антагонизм по отношению к просвещенческому требованию серьезности и зрелости, за которым скрывается взгляд на мир в терминах производительности и полезности, а также буржуазное презрение к тому, что бесполезно и что не работает, – к детским забавам, к игре. Поэтому блаженство воскресного дня совпадает у Адорно с блаженством ребенка, который, «играя вещами, лишает их опосредованной полезности», и с романтическим блаженством того, чтобы «лежать на воде и мирно глядеть на небо», которое Адорно провозглашает как предел диалектического движения в одном из ключевых теоретических фрагментов *Minima moralia*, носящем название *Sur l'eau (На воде)*.

Современный мир, указывает Адорно, основывается на исключении всего, что объявляется ленивым, непродуктивным, стоящим на месте, а не движущимся вперед, в направлении всё большего господства над реальностью и всё большего развития производительных сил. Современный мир – мир, который по-прежнему с нами, – видит идеал в непрерывной деятельности, в бесконечном саморазвитии и круглосуточной гонке продуктивности, в постоянном труде ради якобы благой, неотчужденной жизни в будущем, которое так никогда и не наступает. Вместо этого человечество погружается всё глубже в негативность поистине планетарного масштаба. «Возможно, – пишет Адорно, утверждая утопию непродуктивности и непродуктивности как единственное избавление от этого мира, – истинное общество пресытится развитием и, имея на то свободу, *оставит возможности неиспользованными*, вместо того чтобы под безумным принуждением бросаться на штурм чуждых звезд» (курсив мой). Разве не этот штурм мы видим сегодня в космической гонке? И разве не пронизан мир позднего капитализма невротическим страхом перед упущенными или неиспользованными возможностями, страхом, из-за которого человек вновь и вновь попадает под власть императивов этого мира вместо того, чтобы сказать им «нет»? По-детски минимальная свобода от этого страха и блаженство такой свободы – в этом и состоит «малость» «малой этики» Адорно. Этой малости взгляда и мысли, тому, чтобы уметь стать бесполезным и увидеть несвободу мира полезности (пожалуй, одна из самых трудных задач для современного субъекта), и учит книга Адорно. Только с этой утопической точки, или изнутри этого утопического зазора, и может начаться философия, несводимая лишь к оправданию мира как он есть.

Максу
с благодарностью и обещанием

Посвящение

Печальная наука^[1], из запасов которой я кое-что предлагаю своему другу, имеет предмет своего рассмотрения область, с незапамятных времен считавшуюся вотчиной философии, однако, с тех пор как философия обратилась в метод, переставшую представлять интеллектуальный интерес, подвергшуюся сентенциозному произволу и в конце концов обреченную на забвение, – учение о правильной жизни. То, что когда-то философы называли жизнью, превратилось в сферу частного интереса, а затем и вовсе лишь в сферу потребления, которую материальный процесс производства волочит за собой как привесок, лишенный автономии и собственной субстанции. Тот, кто желает познать истину непосредственной жизни, должен исследовать отчужденную форму этой жизни, изучить объективные силы, определяющие индивидуальное существование вплоть до самых потаенных его уголков. Если непосредственно ведешь речь о непосредственном, твоя манера мало чем будет отличаться от манеры романистов, обвешивающих своих героев-марионеток имитациями былых страстей, точно дешевыми побрякушками, и заставляющих персонажей, которые суть не что иное, как элементы общей машинерии, действовать так, словно они в принципе способны действовать как субъекты и словно от их действий что-то зависит. Взгляд на жизнь стал частью идеологии, которая уверяет нас, что жизни больше не существует.

Однако такое соотношение жизни и производства, при котором первое (жизнь) реальным образом низводится до эфемерного проявления последнего (производства), представляется нам совершенно нелепым. Меняются местами цель и средство. Из жизни пока еще не полностью вытравлена смутная догадка о том, что произошло некое бессмысленное *quid pro quo*². Редуцированная и приниженная сущность жизни упорно сопротивляется колдовскому превращению ее в один лишь фасад. Само изменение производственных отношений во многом зависит от того, что происходит в «сфере потребления», этой отраженной форме производства и искаженной картине истинной жизни: в сознании и подсознании индивидов. Лишь опираясь на то, что противоположно производству – как то, что всё же не целиком ухвачено существующим порядком, – люди могут установить порядок, обладающий бóльшим человеческим достоинством. Если когда-нибудь видимость жизни, отстаиваемая самой сферой потребления по столь дурным причинам, будет полностью стерта, восторжествует чудовищность абсолютного производства.

И всё же в опирающихся на категорию субъекта рассуждениях о том, как жизнь стала видимостью, остается много ложного. Поскольку в современной фазе исторического движения его всеподавляющая объективность состоит единственно в ликвидации субъекта – притом что никакого нового субъекта из этого движения пока не возникло, – индивидуальный опыт вынужден опираться на субъекта прежнего, которому история вынесла приговор и который еще существует для себя, но уже не в себе^[2]. Ему кажется, что он всё так же уверен в своей автономии, однако ничтожность (*Nichtigkeit*), которую продемонстрировали субъектам концентрационные лагеря, охватывает уже саму форму субъективности. Субъективному рассмотрению, пусть оно даже критически заострено против самого себя, присуще нечто сентиментальное и анахроничное: некое сетование на общий ход вещей, от которого следовало бы отказаться не ради его собственного блага, а потому, что жалующемуся субъекту угрожает опасность застыть в его так-бытии и тем самым всё-таки исполнить закон общего хода вещей. Верность собственному уровню сознания и опыта постоянно подвержена искушению обернуться неверностью, так как

² Букв. принятие одной вещи за другую (лат.); путаница, недоразумение. – Здесь и далее в постраничных сносках приводятся служебные примечания переводчика. Пояснительные примечания переводчика и редакторов русского издания обозначены цифрами и помещены в конце книги, в разделе «Комментарии».

в ней умалчивается того рода узрение, которое выходит за пределы индивида и дает определение самой его сущности.

Так, Гегель, на методе которого вышколен метод *Minima moralia*^[3], выдвигает аргументы против чистого для-себя-бытия субъективности на всех ее уровнях. Диалектическая теория, враждебная всему отъединенному, отказывает в ценности даже афоризмам как таковым. В лучшем случае их, как сказано в предисловии к *Феноменологии духа*, можно стерпеть в качестве «обмена мнений»^[4]. Однако время обмена мнений миновало. И всё же в данной книге не забывается ни о притязаниях на тотальность со стороны системы, не терпящей, чтобы осуществлялся выход за ее пределы, ни о протесте против оной. По отношению к субъекту Гегель не придерживается требования, которое, как правило, страстно отстаивает: требования погружаться в существо дела, а не «всегда выходить за его пределы»^[5] вместо того, чтобы «вникнуть в имманентное содержание дела»^[6]. И если субъект нынче исчезает, то афоризмам нелегко дается «само исчезающее рассматривать как существенное»^[7]. Афоризмы – в противовес методу Гегеля, но одновременно и в продолжение его мысли – настаивают на негативности: «Он [дух] достигает своей истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть эта сила не в качестве того положительного, которое отвращает взоры от негативного, подобно тому как мы, называя что-нибудь ничтожным или ложным, тут же кончаем с ним, отворачиваемся и переходим к чему-нибудь другому; но он является этой силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем»^[8].

Решительный жест, которым Гегель, вопреки собственным прозрениям, отмахивается от индивидуального, парадоксальным образом порожден тем, что философ вынужденно увяз в либералистском мышлении. Представление о тотальности, гармоничной, несмотря на все свои антагонизмы, вынуждает его придавать индивидуации исключительно низшее значение в конструкции целого, пусть даже он и определяет индивидуацию как движущий момент процесса. То обстоятельство, что в ходе истории объективная тенденция пробивала себе дорогу поверх голов людей и даже уничтожая индивидуальное, притом что до настоящего дня исторически так и не свершилось понятийно конструируемого примирения всеобщего и особенного, подвергается у Гегеля искажению: с заносчивой холодностью он вновь высказывается за ликвидацию особенного. Ни в одном месте он не сомневается в примате целого. Чем более сомнительным в истории, а равно и в гегелевской логике, остается переход от рефлектирующей разъединенности к прославляемой тотальности, тем усерднее философия как оправдание существующего цепляется за триумфальную колесницу объективной тенденции. Само разворачивание принципа индивидуации в общественной жизни, выливающееся в торжество фатальности, дает философии на то достаточно поводов. Гипостазируя буржуазное общество, а также его основную категорию – индивида, Гегель не смог истинным образом проработать их диалектику. И хотя посредством классической экономии ему удастся постичь, что сама тотальность производит и воспроизводит себя из взаимосвязанности антагонистических интересов составляющих ее членов, индивид как таковой по большей части наивно представляется ему нередуцируемой данностью, которую он сам же в теории познания и разлагает. Но в индивидуалистском обществе не только всеобщее претворяет себя в действительность посредством взаимодействия единичностей, но и общество есть по существу субстанция индивида.

Поэтому социальный анализ способен извлечь из индивидуального опыта несравнимо больше, чем допускал Гегель, в то время как, наоборот, большие исторические категории после всего, что с их помощью между тем успели нагородить, уже не защищены от подозрения в обмане. За полтора века, что прошли со времен гегелевской концепции, кое-что от силы протеста вновь перешло к индивиду. В сравнении со старомодной скупостью, весьма характерной для обращения Гегеля с индивидом, индивид в том, что касается полноты, дифференцированности, приобрел столько же силы, сколько и утратил, будучи ослабленным и выхолощенным вследствие обобществления общества. В эпоху его распада опыт постижения индивидом

себя и того, что с ним происходит, снова вносит вклад в познание, которое ранее было просто скрыто за индивидом, покуда он как господствующая категория толковал себя неизменно позитивным образом. Перед лицом тоталитарного единения, недвусмысленно провозглашающего, что смысл – в уничтожении различий, в сфере индивидуального могла временно сокрыться даже некая часть освободительной общественной силы. Поэтому критическая теория задерживается в этой сфере^[9] не с совсем уж нечистой совестью.

Всё это не призвано скрыть небезупречность данного опыта. Я написал книгу большей частью еще во время войны, в условиях созерцания. Изгнав меня, власть одновременно лишила меня возможности познать ее полностью. Я еще не признался себе в своей совиновности, в порочный круг которой попадает всякий, кто перед лицом неопишемого, происходившего коллективно, говорит об индивидуальном.

Отправной точкой каждой из трех частей работы становится предельно суженное личное пространство интеллектуала в эмиграции. Его дополняют размышления более обширного общественного и антропологического охвата: они касаются психологии, эстетики, науки в ее отношении к субъекту. Завершающие каждую из частей афоризмы подводят, в том числе тематически, к философии, никоим образом не претендуя ни на завершенность, ни на окончательность: все они призваны обозначить точки входа или наметить модели для грядущего напряжения понятия^[10].

Непосредственным поводом для фиксации этих мыслей стало пятидесятилетие Макса Хоркхаймера (14 февраля 1945 года). Записывал я их в то время, когда мы, приняв в расчет внешние обстоятельства, вынуждены были прервать совместную работу. Книга выражает благодарность и верность, не признавая никакого перерыва. Она – свидетельство *dialogue intérieur*³: в ней не найдется ни одного мотива, который не принадлежал бы Хоркхаймеру в той же мере, как и тому, кто нашел время облечь его в определенную формулировку.

Специфическим подходом *Minima moralia*, а именно попыткой изложить некоторые моменты совместной философии, исходя из субъективного опыта, обусловлено то, что отдельные ее части не всегда выдерживают проверку философией, частью которой они сами же являются. Это находит выражение в свободе и необязательности формы, в отказе от подчеркнутой теоретической взаимосвязанности. В то же время такого рода аскетичность призвана отчасти заглазить ту несправедливость, что некто в одиночку продолжил работу над тем, что может быть завершено лишь совместными усилиями – и от чего мы оба отступаться не намерены.

³ Внутренний диалог (франц.).

Часть первая 1944

*Жизнь не живет.
Фердинанд Кюрнбергер^[11]*

1. Марселю Прусту. Сыну состоятельных родителей, выбравшему – неважно, в силу таланта или по слабости характера, – так называемую интеллектуальную профессию, будь то художника или ученого, приходится особенно тяжело в окружении тех, что именуются одиозным словом «коллеги». Тяжело не только потому, что они завидуют его независимости, не верят в серьезность его намерений и предполагают, что он – тайный эмиссар власть имущих. Подобное недоверие, хотя оно и свидетельствует о ресентименте, чаще всего оказывается обоснованным. Однако собственно противостояние таится в ином. Умственная деятельность со временем сама стала «практической», превратилась в предприятие со строгим распределением труда, с целыми отраслями, со своим *numerus clausus*⁴. Материально независимый человек, выбирающий умственную деятельность из отвращения к постыдному зарабатыванию денег, не склонен этого признавать. За это он несет наказание. Он не «профессионал», в иерархии конкурентов ему отведено место дилетанта независимо от того, насколько он разбирается в своем деле, а уж если он вознамерится сделать карьеру, ему, вероятно, придется перешагнуть самого упертого спеца по части решительно отстаиваемой узости мнения. Пренебрежение разделением труда, к которому он склоняется и на которое он в определенной степени способен благодаря своему имущественному положению, выглядит особенно подозрительным: оно выдает нежелание допускать диктуемые обществом правила, а козыряющая своим превосходством компетентность не допускает подобной идиосинкразии. Департаментализация духа есть средство изгнать дух из тех сфер, в которых его не поддерживают *ex officio*⁵, то есть по разнарядке. Средство тем более надежное, чем чаще человек, который отказывается от разделения труда – пусть даже только по той причине, что собственный труд доставляет ему радость, – обнаруживает, в соответствии с мерками такого разделения, свои слабые места, неразрывно связанные с проявлениями его превосходства. Таким вот образом обеспечивается порядок: одни вынуждены участвовать в этом, потому что иначе не смогут выжить, а тех, кто в состоянии выжить иначе, не пускают на порог, потому что они не желают в этом участвовать. Дело обстоит так, как если бы класс, из которого дезертировали независимые интеллектуалы, мстил им, устанавливая свои требования там, где дезертир надеется найти себе прибежище.

2. Скамейка из дерна^[12]. Отношения с родителями начинают претерпевать печальную, теневую метаморфозу. Впав в экономическое бессилие, родители перестали нас пугать. Когда-то мы восставали против той твердости, с которой они настаивали на принципе реальности, против их трезвой рассудительности, которая в любой момент могла обернуться гневом по отношению к тем, кто не отрекается от своих убеждений. Однако ныне мы оказываемся перед лицом якобы молодого поколения, которое в любом из своих побуждений предстает невыносимо взрослее, чем когда-либо были родители; это поколение отреклось еще до того, как вообще возник конфликт, и именно этим питает свою власть, озлобленно-авторитарную и незыблемую. Возможно, во все времена поколение родителей представало безобидным и лишенным власти, лишь когда ослабевали его физические силы, в то время как собствен-

⁴ Узкий круг допущенных (*лат.*).

⁵ По обязанности (*лат.*).

ное поколение уже ощущало угрозу со стороны молодежи: в антагонистическом обществе даже отношения между поколениями являются отношениями конкуренции, за которыми стоит неприкрытое насилие. Ныне же эти отношения начинают регрессировать к тому состоянию, в котором им хоть и не известен эдипов комплекс, но знакомо отцеубийство. К символически значимым преступлениям нацистов относится убийство глубоких стариков. В подобной атмосфере устанавливается запоздалое и осознанное взаимопонимание с родителями, какое бывает между осужденными людьми, нарушаемое только страхом, что мы, сами утратив силу, окажемся не в состоянии заботиться о них так же хорошо, как они заботились о нас, пока еще чем-то владели. Насилие, которое применяют к ним, заставляет забыть о том насилии, которое они применяли сами. Даже их рациональные рассуждения, та самая прежде ненавидимая нами ложь, коей они пытались выдать свой партикулярный интерес^[13] за интерес всеобщий, обнаруживают предчувствие истины и жажду разрешения конфликта, наличие которого позитивно настроенные потомки радостно отрицают. Даже до напыщенного, непоследовательного и не доверяющего самому себе духа старшего поколения достучаться легче, чем до находчивой глупости молодого. Даже невротические странности и возрастные деформации пожилых отражают их характер, то, что в человеке состоялось, в отличие от патологического здоровья и возведенного в норму инфантилизма. С ужасом следует признать, что зачастую еще и раньше, споря с родителями, поскольку они представляли мир, мы в глубине души были рупором мира худшего в его противостоянии миру просто плохому. Не связанные с политикой попытки вырваться за пределы буржуазной семьи приводят к тому, что мы еще сильнее запутываемся в ней, и порой всё выглядит так, будто семья, та самая злополучная ячейка общества, одновременно является питающей зародышевой клеткой^[14] бескомпромиссной воли к другому обществу. В то время как система продолжает существовать, вместе с семьей исчез не только наиболее действенный агент буржуазии, но исчезло и сопротивление, которое пусть и подавляло индивида, всё же делало его сильнее, а то и вообще порождало. Конец семьи парализует силы противодействия. Надвигающийся коллективистский порядок есть издевка над порядком бесклассовым: в лице буржуа он одновременно уничтожает утопию, которая некогда питалась материнской любовью.

3. Рыба в воде. С тех пор как всеохватывающий аппарат распределения высококонцентрированной промышленности пришел на смену сфере обращения^[15], она, эта самая сфера, ведет странное постсуществование. В то время как посреднические профессии лишаются экономической базы, частная жизнь бесчисленного множества людей превратилась в жизнь агентов и посредников, да и вообще сфера частной жизни целиком поглощается загадочной деловитостью, носящей все черты коммерческой активности, хотя при этом собственно предмет торговли отсутствует. Запуганные люди, начиная с безработного и кончая знаменитостью, которая в любое мгновение может навлечь на себя гнев тех, кто в нее инвестирует, верят в то, что исключительно благодаря восприимчивости и усердию, благодаря «чего изволите», уловкам, обману и своим торгашеским качествам они могут положительно отрекомендоваться исполнительной власти, представляющейся им вездесущей, и скоро не останется никаких человеческих связей, которые не были бы нацелены на приобретение связей, никаких побуждений, которые бы не подвергались предварительной цензуре из опасения совершить нечто неприемлемое. Понятие межличностных связей – эта категория посредничества и обращения – никогда не расцветало пышным цветом собственно в сфере обращения, то есть на рынке, но лишь в закрытых, монополистических иерархиях. А поскольку всё общество становится иерархичным, то мутные отношения присасываются всюду, где еще существовала видимость свободы. Иррациональность системы не в меньшей степени, чем в экономической судьбе единичного человека, выражается в его паразитарной психологии. Прежде, когда еще существовало что-то наподобие пресловутого буржуазного разделения профессиональной и частной жизни,

об исчезновении которого уже чуть ли не приходится печалиться, всякий, кто в частной сфере преследовал деловые цели, воспринимался как бесцеремонно проникший на чужую территорию и вызывал недоверие. Сегодня же заносчивым типом, чужаком и посторонним предстает тот, кто вступает в личные отношения, не выказывая никакой деловой направленности. Тот, кто «ничего не хочет», смотрится почти что подозрительно: никто не верит, что он может поспособствовать другим ухватить кусок, не легитимируя себя встречными требованиями. Бесчисленное множество людей превращают в профессию положение, возникшее вследствие ликвидации профессии как таковой. Это люди приятные, всеми любимые, с каждым на дружеской ноге, праведники, которые гуманно прощают любую подлость и со всей неподкупностью клеймят всякое ненормированное движение души как сентиментальщину. Они – незаменимые знатоки всех каналов и вентиляционных шахт власти, они угадывают ее самые тайные вердикты и живут за счет их проворного распространения. Мы встречаем их во всех политических лагерях, даже там, где отрицание системы само собой разумеется и где поэтому образовался особого рода расхлябанный и лукавый конформизм. Часто они подкупают некой безапелляционной добросердечностью, живым участием в судьбе других людей – спекулируют самоотверженностью. Они умны, остроумны, чутки и отзывчивы: на старый торгашеский дух они навели лоск вчерашних достижений психологии. Они способны на всё, даже на любовь, однако неизменно лишены верности. Они обманывают, следуя не влечению, а принципу: они и самих себя оценивают как прибыль, которая не должна достаться никому другому. С интеллектуальной сферой их связывает избирательное сродство и ненависть: для человека мыслящего они одновременно и искушение, и злейший враг. Ведь именно они украдкой овладевают последними очагами сопротивления, часами жизни, еще свободными от диктата машинерии, и обезображивают их. Их запоздалый индивидуализм отравляет всё, что еще осталось от индивида.

4. Конечная ясность. Как-то раз в газетном некрологе одному деловому человеку написали: «Широта его совести соперничала с добротой его сердца». Оговорка, допущенная скорбящими близкими, перешедшими на возвышенный слог, который они берегли как раз для подобных целей, нечаянное признание в том, что покойный был человеком сердечным, но бессовестным, кратчайшим путем направляет эту похоронную процессию в царство истины^[16]. Если человека почтенного возраста восславляют за примечательное душевное спокойствие, то жизнь его, следует полагать, состояла из цепочки постыдных деяний. Он отучил себя от душевных волнений. Широта совести утверждает себя как широта души, которая всё прощает, поскольку всё слишком уж хорошо понимает. Между собственной виной и виной других устанавливается *quid pro quo*, разрешающееся в пользу того, кто взял себе лучшую долю. Прожив столь долгую жизнь, человек уже не в состоянии различать, кто кому какую обиду нанес. В абстрактном представлении об универсальной несправедливости растворяется всякая ответственность конкретного человека. Подлец оборачивает дело так, будто несправедливо поступили именно с ним: «Если б вы знали, молодой человек, какова жизнь на самом деле!» Для тех же, кто еще в расцвете лет отличается особой добротой, душевное спокойствие – не что иное, как авансовый вексель. Человек, не обладающий дурным характером, не живет спокойно, но живет особенно – стыдливо, ожесточенно и нетерпеливо. Из-за недостатка достойных объектов он вряд ли может найти иное выражение своей любви, кроме как в ненависти к объектам недостойным, которая, естественно, уподобляет его тому, что он ненавидит. А вот буржуа толерантен. Его любовь к людям – таким, какие они есть, – проистекает из ненависти к настоящему человеку.

5. Прекрасно с вашей стороны, что вы пришли в веселый час!^[17] Не осталось уж ничего безобидного. Те маленькие радости, те проявления жизни, на которые, кажется, не распространяется ответственность мысли, не только содержат элемент упорного неразумия,

жестокосердного самоослепления, но и непосредственно служат собственной крайней противоположности. Даже цветущее дерево лжет в тот миг, когда его цветение воспринимают без тени ужаса; даже невинное «Как красиво!» предстает оправданием унижения наличного бытия, отличающегося от других, и нет более ни красоты, ни утешения, кроме как во взгляде, брошенном на ужасное, способном вынести его вид и при всем неприукрашенном осознании негативности утверждать возможность лучшего. Настоятельно рекомендуется не доверять ничему непринужденному и легкомысленному, никакому наплевательству, подразумевающему уступчивость перед всевластием существующего. Недобрый подтекст приятного удовольствия, который прежде ограничивался здравицей беззаботности, давно распространился и на более дружелюбные движения души. Случайный разговор в поезде с попутчиком, кое-каким словам которого, дабы не возникло перепалки, поддакиваешь, хотя знаешь, что они в конечном счете чреваты убийством, – уже в значительной мере предательство; ни одна мысль не застрахована от того, что ее передадут дальше, и достаточно лишь высказать ее не в том месте и не в том понимании, чтобы поставить под угрозу ее истинность. Как бы я ни остерегался, любое посещение кинотеатра делает меня глупее и хуже. Само стремление к общению есть участие в несправедливости, ведь благодаря ему охладевший мир представляется таким, в котором еще можно общаться с другими, а непринужденное, приветливое слово только способствует тому, что воцаряется молчание, – ведь, идя на уступки собеседнику, говорящий лишь еще более принижает самого себя как собеседника. Злой принцип, изначально таившийся в общительности, в эгалитарном духе проявляет всю свою чудовищность. Снисходительность и почитание себя не лучше других суть одно и то же. Подстраиваться под слабость угнетенных – значит утверждать в этой слабости предпосылку господства и в самом себе возвращать грубость, глупость и склонность к насилию в той мере, что потребна для осуществления господства. Если при этом на последней стадии утрачивается снисходительность и видится одно лишь уравнивание, то именно при подобном абсолютном затушевывании отношений власти со всей непримиримостью проявляются замалчиваемые классовые отношения. Для интеллектуала единственный способ хоть как-то проявить солидарность – блюсти никем не нарушаемое одиночество. Всякое сотрудничество, вся человечность общения и участия есть не что иное, как маска молчаливого согласия с бесчеловечностью. Следует быть сопричастным страданиям людей: малейший шаг навстречу их радостям есть шаг к ужесточению их страданий.

6. Антитеза. Тот, кто отказывается от сотрудничества, подвержен опасности полагать себя лучше других и злоупотреблять своей критикой общества, обращая ее в идеологию ради личного интереса. Неуверенно пытаясь уподобить собственное существование нестабильному образу правильного существования, он должен помнить об этой нестабильности и знать, как мало такой образ способен заменить собой правильную жизнь. Однако тому, чтобы помнить об этом, препятствует сила тяжести буржуазного начала в нем самом. Дистанцированный наблюдатель столь же вовлечен, сколь и деятельный участник; у первого нет перед последним никакого преимущества, кроме понимания своей вовлеченности и счастья от той малой толики свободы, которая содержится в понимании как таковом. Дистанцирование себя от деятельности – это роскошь, которую предоставляет лишь сама деятельность. Именно поэтому любой порыв отстраниться несет в себе черты того, что дистанцирование отрицает. Холодность, которую оно должно в себе развить, неотличима от буржуазной холодности. И даже в протесте, согласно принципу монадологии, кроется господство всеобщего. Наблюдение Пруста относительно того, что фотопортреты деда герцога и деда еврея из среднего сословия настолько похожи друг на друга, что никому и в голову не придет думать о сословных различиях, на самом деле ставит проблему куда более широко: за единообразием эпохи объективно исчезают все различия, которые составляют счастье и даже саму моральную субстанцию индивидуального существования. Мы констатируем упадок образования, и при этом наша проза в сравнении

с прозой Якоба Гримма или Бахофена^[18] обнаруживает сходство с индустрией культуры в таких построениях, о которых мы даже не догадываемся. Более того, мы давно уже не владеем латынью и греческим в той мере, в какой владели ими Вольф или Кирхгоф^[19]. Мы указываем, что цивилизованность обращается в безграмотность – и сами разучиваемся писать письма или читать Жан Поля^[20] так, как его, должно быть, читали современники. Нас страшит огрубление жизни, однако отсутствие какой бы то ни было объективно обязательной морали принуждает нас на каждом шагу избирать такие формы поведения, речений и расчетов, которые по человеческим меркам являются варварскими и даже – по сомнительным меркам приличного общества – бестактными. С закатом либерализма собственно буржуазный принцип – принцип конкуренции – не был преодолен, но лишь перешел из объективности общественного процесса в состояние сталкивающихся и напирających друг на друга атомов, как бы в область антропологии. Подчинение жизни процессу производства унижительным образом навязывает каждому нечто от той изоляции и того одиночества, которые мы склонны считать результатом своего суверенного выбора. То, что каждый отдельно взятый человек полагает, что его партикулярный интерес важнее всех прочих, а равно и то, что он ценит других людей как сообщество клиентов выше себя самого, издавна составляет часть буржуазной идеологии. С тех пор, как добрая старая буржуазия сошла со сцены, обе эти идеологемы продолжают жить в сознании интеллектуалов, являющихся последними врагами буржуа и одновременно – последними буржуа. Позволяя себе мыслить, а не просто воспроизводить наличное бытие, они ведут себя как люди привилегированные; не предпринимая никаких дальнейших действий, кроме размышления, они заявляют о ничтожности своей привилегии. Частное существование, стремящееся походить на существование, достойное человека, одновременно предаёт свой идеал, поскольку сходство это не находит воплощения во всеобщей действительности, нуждающейся – больше, чем когда-либо, – в независимой мысли. Из этих пут не выбраться. Единственное, что может претендовать на ответственный поступок, – это отказаться от идеологического злоупотребления собственным существованием и во всем остальном в частной жизни вести себя так скромно, неприметно и непретенциозно, как давно уже велит нам... нет, не хорошее воспитание, а стыд за то, что в аду нам еще есть чем дышать.

7. They, the people⁶. То обстоятельство, что интеллектуалы чаще всего имеют дело с интеллектуалами, не должно вводить их в искушение считать себе подобных еще подлее всего остального человечества. Ибо они сплошь и рядом познают друг друга в постыднейшем и недостойнейшем из всех возможных положений – в положении конкурирующих просителей – и тем самым буквально вынуждены поворачиваться к другим своими самыми отвратительными сторонами. Другие же, особенно простой народ, достоинства которого интеллектуалы так любят подчеркивать, встречают их, как правило, в роли тех, кто желает ему что-то продать, не опасаясь при этом, что покупатель когда-либо посягнет на их территорию. Автомеханику или барышню в ликерной лавке легко не быть нахальными: проявлять дружелюбие им в любом случае велят сверху. И наоборот: интеллектуалы также могут производить вполне приятное впечатление на людей неграмотных, приходящих к ним с просьбой написать письмо. Однако как только простых людей вынуждают сражаться друг с другом за свою долю социального продукта, по части зависти и злобы их поведение превосходит всё, что только может встретиться нам среди литераторов или капельмейстеров. Прославление замечательнейших *underdogs*⁷ выливается в прославление замечательнейшей системы, которая их в таковых превращает. Не лишённое оснований чувство вины тех, кому нет необходимости заниматься физическим трудом, не должно становиться оправданием «идиотизма деревенской жизни»^[21]. Ложь эту интеллек-

⁶ Они, народ (англ.).

⁷ Неудачники, аутсайдеры (англ.).

туалы лишь подкрепляют: ведь они – единственные, кто пишет об интеллектуалах и кто во имя достоверности создает им дурную репутацию. Существенная доля господствующего антиинтеллектуализма и иррационализма, вплоть до Хаксли, порождается тем, что пишущие нападают на механизм конкуренции, не постигнув его сути, и таким образом сами оказываются в его власти. В собственном кругу они сами себе преградили путь к осознанию «тат твам аси»^[22]. Поэтому они и устремляются в индийские храмы.

8. Если будут склонять тебя грешники^[23]. Существует *amor intellectualis*^{8[24]} к кухонному персоналу, соблазняющая людей умственного или творческого труда духовными самопослаблениями, понижением собственной планки, следованием словом и делом всем тем привычкам, которые ты как человек ясно мыслящий уже было отбросил. Поскольку никакая категория, даже категория образованности, не присуща интеллектуалу заранее, а тысячи требований, выдвигаемые деловитостью, пагубно сказываются на концентрации памяти, то для того, чтобы произвести нечто хоть в какой-то мере способное пройти проверку, требуется столь великое усилие, что едва ли кто на него способен. К тому же, требование конформности, довлеющее над любым производителем, снижает его требования к себе самому. Само ядро духовной самодисциплины охвачено процессом распада. Табу, задающие духовный уровень человека и зачастую представляющие собой седиментированный опыт^[25] и неартикулированные познания, постоянно направлены против его собственных побуждений, которые он научился проклинать – но которые столь сильны, что лишь неоспоримая и несомненная инстанция способна держать их в узде. То, что справедливо для жизни инстинктивной, в не меньшей степени справедливо и для жизни духовной: художник или композитор, не допускающий в своем творчестве того или иного сочетания красок или соединения аккордов, представляющихся ему китчем, писатель, которого раздражают определенные языковые конфигурации как банальные или педантичные, реагирует на них столь бурно, поскольку в нем самом есть слои, тяготеющие к китчу. Отказ от господствующего культурного безобразия предполагает, что ты сам вносишь в него достаточный вклад, чтобы, так сказать, руки чесались – но и чтобы из этой причастности ты извлек силы от нее отказаться. Эти силы проявляются как силы индивидуального сопротивления, однако сами по себе они отнюдь не носят сугубо индивидуальный характер. Интеллектуальная совесть, в которой они концентрируются, содержит в себе социальный момент в не меньшей степени, чем моральное Сверх-Я. Она образуется на основе представления о правильном обществе и составляющих его гражданах. Если когда-либо это представление ослабевает – а кто еще в состоянии слепо довериться ему? – то интеллектуальная деградация лишается своего сдерживающего начала, и в индивидуе проявляется вся скверна, которую оставила в нем варварская культура: полуобразованность, наплевательство, грубая фамильярность, неотесанность. Зачастую индивид еще рационализирует эти качества как признаки человечности, как желание быть понятым другими, как ответственность много повидавшего человека. Однако тому, кто на подобное решается, жертвование интеллектуальной самодисциплиной дается слишком легко, чтобы можно было поверить, будто для него это и впрямь жертва. В особенности это бросается в глаза при взгляде на интеллектуалов, чье материальное положение изменилось: стоило им кое-как внушить себе, что зарабатывать на жизнь следует только писательским и никаким иным трудом, как они с точностью до мелочей принимают выдавать такой же хлам, какой когда-то сами, будучи обеспеченными, страстно предавали анафеме. Подобно некогда состоятельным эмигрантам, на чужбине по велению сердца ведущим себя так скупно, как они всегда мечтали вести себя на родине, обнищавшие духом с восторгом маршируют прямо в ад, который есть их царствие небесное.

⁸ Интеллектуальная любовь (лат.).

9. Вперед всего, дитя мое^[26]. Аморальность лжи заключается не в попрании святой истины. Апеллировать к истине в последнюю очередь имеет право общество, которое обязывает своих принудительных членов высказываться вслух, чтобы тем надежнее их настигать. Универсальной неистинности не пристало настаивать на частной истине, которую она, впрочем, тут же обращает в ее противоположность. Всё же лжи присуще нечто отвратительное, и хотя осознание этого и было исстари вбито в нас розгами, одновременно оно что-то говорит и о самих тюремщиках. Ошибка заключается в чрезмерной честности. Кто лжет, ощущает стыд, ибо во всякой лжи он на опыте познает недостойность мироустройства, принуждающего его лгать, если ему хочется жить и при этом еще напевать: «Лишь верностью да честностью»^[27]. У людей с тонкой душевной организацией этот стыд лишает ложь убедительности. Они лгут неумело, собственно, за счет этого ложь и становится аморальным поступком по отношению к другим. Ложь расценивает их как глупцов и служит выражением презрения. В среде нынешних поднаторелых во лжи она давно утратила свою честную функцию – обманывать в отношении чего-то реального. Никто не верит никому, и все в курсе. Лгут лишь с целью дать понять другому, что в нем не нуждаются, что его ни во что не ставят, и лгущему безразлично, что другой о нем подумает. Ложь, некогда служившая либеральным средством коммуникации, превратилась нынче в одну из техник бесстыдства, при помощи которых каждый индивид источает холод и под его покровом процветает.

10. И вместе, и порознь. Супружеские отношения, жалкая пародия на которые продолжает существовать в эпоху, лишившую всяческих оснований право человека на супружество, в настоящее время служит чаще всего уловкой в целях самосохранения: каждый из двух заговорщиков неизменно перекладывает всю ответственность за совершаемые им гнусности на другого, в то время как на самом деле оба влачат мутное и застойное существование. Достойным супружеством можно было бы назвать лишь такое, в котором оба супруга вели бы собственную независимую жизнь, без того слияния, к которому вынуждает их экономически навязанная общность интересов, но тем не менее добровольно брали бы на себя обоюдную ответственность друг за друга. Супружество как объединение на основе экономического интереса неизбежно подразумевает унижение обеих заинтересованных сторон, и низость нашего мироустройства заключается в том, что никто не в состоянии избежать такого унижения, даже если бы знал заранее, что оно его ждет. Порой в свете этого приходит в голову мысль, что лишь у тех, кому нет нужды преследовать экономический интерес, то есть у богатых, только и осталась возможность вступать в непозорный брак. Однако возможность эта совершенно формальна, поскольку как раз у тех, кто облечен данной привилегией, преследование экономического интереса стало второй натурой – иначе бы они не стали отстаивать свои привилегии.

11. Стол и кров. Как только супруги разводятся, даже если они люди благонравные, дружелюбные и образованные, как правило, поднимается туча пыли, которая покрывает и обесцвечивает всё, с чем бы она ни соприкоснулась. Кажется, будто сама сфера интимного, слепое доверие совместной жизни обращается в страшный яд, когда расторгаются отношения, которые эту интимность составляют. Интимность между людьми – это снисходительность, терпимость, пристань для причуд. Если ее выставить напоказ, в ней сами собой проявляются слабые места – а при разводе интимное неизбежно выходит наружу. Эта публичность присваивает себе все средства прежней доверительности. Вещи, некогда бывшие знаками любящей заботы, воплощениями примирения, неожиданно обретают самооценку и являют свою недобрую, холодную и разрушительную сторону. Тогда после расставания профессор вламывается в квартиру своей жены, чтобы похитить вещи из ящиков письменного стола, а состоятельная дама доносит на мужа в налоговую инспекцию. И если супружество представляет собой едва ли не последнюю возможность создать в бесчеловечном всеобщем человеческую ячейку,

то когда эта ячейка распадается, всеобщее мстит, овладевая тем, что представлялось исключенным из всеобщего, подчиняя брак отчужденным категориям права и собственности и потешаясь над теми, кто мнил себя в безопасности. Именно то, что больше всего берегли супруги, превращается в жуткий реквизит публичного разоблачения. Чем «великодушнее» относились прежде друг к другу супруги, чем меньше задумывались они о собственности и обязательствах, тем гнуснее будет их унижение. Ведь именно в области никак не определенного законом и расцветают пышным цветом ссоры, взаимные оскорбления, бесконечный конфликт интересов. Весь тот мрак, на котором зиждется институт брака – варварское со стороны мужчины распоряжение собственностью и трудом женщины, не менее варварское сексуальное подавление, обыкновенно принуждающее мужчину к тому, чтобы брать на себя пожизненную ответственность за ту, с кем спать когда-то доставляло ему радость, – всё это выплывает на божий свет из подвалов, из-под фундамента, когда дом идет на слом. Тех, кто когда-то познал благое всеобщее в ограничивающей принадлежности друг другу, теперь общество принуждает считать себя негодяями, усвоить, что они ничем не отличаются от окружающего их всеобщего неограниченной низости. При разводе всеобщее оборачивается позорным клеймом особенного, поскольку особенное, то есть супружество, не в состоянии в этом обществе претворить в действительность истинное всеобщее.

12. Inter pares⁹. В царстве эротических качеств, похоже, происходит полная переоценка. В эпоху либерализма, вплоть до наших дней, женатые мужчины из приличного общества, которым их оберегаемая благовоспитанная и правильная супруга слишком мало могла предложить, возмещали недостачу за счет женщин творческих профессий, богемных дам, кокоток и «милых девочек»^[28]. С рационализацией общества эта возможность нерегламентированного счастья исчезла. Кокотки повывелись, «милых девочек» в англо-саксонских странах и других оплотах технической цивилизации отродясь не водилось, а творческие дамы и паразитирующая на массовой культуре богема столь полно пропитались разумом этой культуры, что тот, кого манила их анархия и свободное распоряжение собственной меновой стоимостью, рисковал однажды проснуться обремененным обязательством если не взять девушку в ассистентки, то по меньшей мере рекомендовать ее знакомым киномагнатам или писакам. Единственно, кто еще способен позволить себе нечто вроде безрассудной любви, это те самые дамы, уходя от которых, мужа когда-то заглаживали в «Максим»^[29]. Хотя они наскучили собственным мужьям (причем по вине последних) на столько же, на сколько им наскучили их матери, они во всяком случае в состоянии дать другим то, в чем им все отказали. Давно уже фригидная либертинка представляет бизнес, а благовоспитанная и томительно и неромантически соблюдающая приличия дама – сексуальность. Так, в конце концов, светские дамы обретают честь в бесчестье в тот момент, когда не существует больше ни света, ни дам.

13. Защита, помощь и совет^[30]. В эмиграции всякий без исключения интеллеktуал – «человек поврежденный», и хорошо бы это ему самому осознать, если он не хочет, чтобы ему растолковали это в изуверской форме за плотно закрытыми дверями его собственного самоуважения. Он живет в окружении, которое останется для него непостижимым, даже если он отлично разбирается в профсоюзных организациях и правилах уличного движения: он вечно сбив с пути. Между воспроизведением собственной жизни в условиях монополии массовой культуры и содержательно-ответственным трудом существует непримиримый разлом. Его лишили языка и исторического измерения, из которого черпала силы его познавательная деятельность. Изоляция всё более усугубляется по мере того, как множатся всякого рода устойчивые и политически контролируемые группы, подозрительные к своим и враждебные к тем,

⁹ Среди равных (лат.).

кто носит клеймо чужого. Отводимой чужим доли социального продукта явно не хватает, и это толкает их на путь безнадежной вторичной конкуренции между собой посреди конкуренции всеобщей. Всё это на каждом единичном человеке оставляет свои отметины. Тот, кого обошел стороной позор непосредственной унификации^[31], несет на себе, как особую метку, печать этой самой обойденности, призрачного и нереального существования в жизненном цикле общества. Отношения между изгоями еще более отравлены, чем отношения между коренными жителями. Любая мера фальшива, всякая оптика сбита. Частное прет напролом, лихорадочно, непристойно, вампирически как раз потому, что его, собственно, более не существует, и оно судорожно пытается доказать, что покуда еще живо. Публичное становится непроизнесенной присягой на верность определенной политической платформе. Взгляд обретает маниакальность и одновременно холодную решимость ухватить, проглотить, конфисковать. Ничто не помогает, кроме упорной диагностики самого себя и других, кроме попытки при помощи сознания если не избежать беды, то хотя бы лишить ее роковой силы – силы слепоты. К тому же рекомендуется проявлять предельную осторожность при выборе круга личного общения, если такой выбор возможен. Беречься следует прежде всего общения с сильными мира сего, от которых «чего-то ожидаешь». Нацеленность на возможную выгоду есть смертельный враг установления вообще достойных человека отношений; из таких отношений могут вытекать солидарность и стояние друг за друга, но эти солидарность и стояние не могут возникнуть из мысли о достижении практических целей. Не менее опасны и зеркальные отражения власти – лакеи, льстецы и нахлебники, что заискивают перед тем, кто устроен в жизни лучше, таким архаическим способом, который может процветать только в условиях экономической экстерриториальности эмиграции. Предоставляя покровителю незначительные выгоды, они поднимают его на смех, как только он согласится их получать, – а получать их, в свою очередь, его неизбежно искушает собственная беспомощность на чужбине. Если в Европе эзотерический жест зачастую был лишь предлогом для преследования самого что ни на есть слепого личного интереса, то в эмиграции потрепанное и давнее уже течь понятие *austérité*¹⁰ еще предстает наиболее приемлемой спасательной шлюпкой. Правда, только у очень немногих имеется в распоряжении такая, чтоб на ней можно было пуститься по морю. Большинству садящихся в нее грозит голодная смерть или безумие.

14. Le bourgeois revenant¹¹. В фашистских режимах первой половины XX века абсурдным образом утвердилась устаревшая форма экономики и приумножился страх, который необходим ей, чтобы себя поддерживать, поскольку бессмысленность ее очевидна. Однако тем же отмечена и частная жизнь. Одновременно с распорядительной властью вновь закрепился душевный порядок частного, партикуляризм интересов, давно изжившая себя форма семьи, право собственности и его отражение в характере. Но с нечистой совестью, с трудом скрываемым сознанием неистинности. Всё, что в буржуазности когда-то было хорошего и пристойного, ее независимость, настойчивость, прозорливость и осмотрительность, испорчено до самой сердцевины. Ибо, хотя формы буржуазного существования упорно сохраняются, их экономические предпосылки отпадают. Приватное окончательно обратилось в привативное^[32], каким оно втайне всегда и было, а к упорному отстаиванию собственного интереса примешалась еще и ярость, вызванная неспособностью осознать, что всё могло бы быть иначе и лучше. Буржуа утратили свою наивность, отчего вконец ожесточились и озлобились. Оберегающая длань, которая по-прежнему лелеет и возделывает свой садик, словно не замечая, что он давно превратился в lot¹², и в страхе отгоняет неведомого вторженца, уже стала той самой рукой,

¹⁰ Аскеза (франц.).

¹¹ Призрак буржуа (франц.).

¹² Участок земли и лот на аукционе (англ.).

что отказывает в приюте политическому беженцу. Как объективно находящиеся под угрозой, власть имущие и их приверженцы субъективно становятся окончательно бесчеловечными. Так класс приходит к самому себе^[33] и присваивает разрушительную волю мировой истории. Буржуа продолжают жить как призраки, грозящие бедой.

15. Le nouvel avare¹³. Существует два вида скупости. Одна скупость – архаическая: страсть, не позволяющая ничего ни себе, ни людям; ее физиогномику увековечил Мольер, а Фрейд объявил ее анальным характером. Ее совершенное воплощение – miser¹⁴, нищий, тайно владеющий миллионами, и в равной мере пуританская маска неузнанного калифа из сказки. Он сродни собирателю, маньяку и, в конце концов, великому любящему^[34], как Гобсек родственен Эстер^[35]. Нынче его едва ли встретишь, разве что как курьез в газетной колонке местных новостей. Нашему времени соответствует скупой, которому ничего не жаль для себя, но всего жаль для других. Он мыслит эквивалентами, и вся его частная жизнь подчинена закону давать как можно меньше, но всё же достаточно для того, чтобы получить что-то взамен. В любом дружелюбном поступке, явленном такими людьми, чувствуется размышление: «А действительно ли это необходимо? Должен ли я это делать?» Самым верный их признак – поспешность, с какой они «реваншируются» за проявленное к ним внимание, ни в коем случае не допуская разрыва в цепи актов обмена, благодаря которым они сполна возмещают свои траты. Поскольку всё у них рационально, всё по правилам, то их, в отличие от Гарпагона и Скруджа, не переманишь на иную сторону и не переубедишь. Их любезность есть мера их непреклонности. Если надо, они незамедлительно возьмут, что им положено по справедливости, а справедливость обратят в несправедливость – в то время как с убогими скупердьями примиряло хотя бы то, что, как правило, золото в ларце само по себе притягивало вора, и вообще их страсть могли утолить лишь жертва и утрата, как эротическое стремление к овладению может быть утолено лишь самопожертвованием. Новые скупые, однако, практикуют аскезу не с необузданностью, а с осторожностью. Они застрахованы.

16. О диалектике такта. Гёте, который отчетливо осознавал угрозу невозможности сколько-нибудь человеческих отношений в подступающем индустриальном обществе, во вставных новеллах из *Годов странствий* попытался представить такт как спасительное средство в общении отчужденных друг от друга людей. Это средство было для него равнозначно отречению, отказу от неограниченной близости, страсти и нерушимого счастья. Гуманность заключалась для него в самоограничении, которое волшебным образом оказывалось способным принимать на себя неумолимость хода истории, бесчеловечность прогресса, атрофию субъекта. Однако ввиду всего, что произошло с тех пор, даже гётевское отречение можно рассматривать как реализацию. Такт и человечность – что для Гёте одно и то же – за это время пошли именно тем путем, от которого они, по его убеждению, должны были держаться подальше. И всё же у такта есть свое конкретное место в истории. Это время, когда буржуазный индивид освободился от абсолютистского принуждения. Свободный и одинокий, он отвечает за себя сам, тогда как развитые во времена абсолютизма формы иерархического почитания и уважения, лишившиеся своего экономического основания и своей грозной силы, присутствуют еще в достаточной мере, чтобы сделать совместную жизнь внутри привилегированных групп сносной. Такой парадоксальный паритет абсолютизма и либеральности, обнаруживаемый в *Вильгельме Мейстере*, можно проследить и в отношении Бетховена к традиционным схемам композиции, и даже в логике, в кантовской субъективной реконструкции объективно обязывающих идей^[36]. Бетховенские постоянные репризы после динамической разработки

¹³ Новый скупой (франц.).

¹⁴ Скряга (англ.).

и кантовская дедукция схоластических категорий из единства сознания в высоком смысле «тактичны». Предпосылкой такта является уже внутри себя нарушенное, но тем не менее еще наличествующее соглашение. Соглашение это ныне безнадежно утрачено и продолжает жить лишь в пародийной форме, в произвольно выдуманном или воскрешенном в памяти этикете для невежд, как его проповедают непрошенные советчики в газетах, в то время как взаимопонимание, которое эти соглашения призваны были обеспечить, пока они еще не утратили человечности, обратилось в слепую конформность автовладельцев и радиослушателей. Поначалу кажется, что отмирание церемониальности в отношениях идет такту на пользу. Он освобождается от всего гетерономного, от плохо заученных правил, и тактичное поведение отныне должно было бы состоять не в чем ином, как в том, чтобы ориентироваться исключительно на специфику каждого отдельно взятых отношений между людьми. Однако подобной эмансипированной тактичности, как и номинализму любого рода, приходится туго. Такт означал не просто подчинение условному церемониалу: этот церемониал как раз и стал предметом насмешек всех позднейших гуманистов. То, что удалось добиться такту, было не менее парадоксальным, чем его историческое положение. Он требовал невозможного в реальности примирения необоснованных претензий достигнутого соглашения и необузданных претензий индивида. Иначе, чем по отношению к этому самому соглашению, такт вообще нельзя было измерить. Соглашение это, пусть и в весьма разбавленном виде, представляло то всеобщее, что составляет субстанцию всякой индивидуальной претензии. Такт есть определение различий. Он состоит в сознательных отклонениях. Но если он, эмансипировавшись, сталкивается с индивидом как абсолютом, а всеобщее, с которым можно было бы проводить различие, отсутствует, то такт промахивается мимо индивида и в конечном счете обходится с ним несправедливо. Если воспитание более не заповедует нам и не ожидает от нас, что мы будем справляться о самочувствии другого человека, то такой вопрос начинает звучать как назойливое любопытство или как оскорбление; лишь только исчезают правила, предписывающие, о чем следует говорить, а о чем нет, умалчивание о деликатных подробностях предстает пустым равнодушием. И вот уже индивиды начинают – и не без оснований – реагировать на проявление такта враждебно: к примеру, определенного рода вежливость не вызывает у них ощущение, что к ним обращаются как к людям, а пробуждает смутное осознание тех нечеловеческих условий, в которых они находятся, и вежливый человек рискует прослыть невежливым из-за того, что пользуется вежливостью, словно устаревшей привилегией. Эмансипированный, сугубо индивидуальный такт в конце концов оборачивается не чем иным, как ложью. То, что такт сегодня еще затрагивает в индивиде, есть то, что он сам тщательно скрывает, а именно фактическая и, в еще большей мере, потенциальная власть, которую воплощает собой каждый. За требованием обращаться к индивиду как таковому, без преамбул, в соответствии с его положением, таится страстное желание проследить, чтобы при каждом слове мы отдавали себе отчет в том, что представляет собой человек, к которому мы обращаемся, в ужесточающейся, всеохватной иерархии и каковы его шансы. Номинализм такта способствует триумфу самого всеобщего, что только может быть, – распорядительной власти в чистом ее виде – даже в глубоко личных ситуациях. Отказ от договоренностей как бесполезной, отжившей свое внешней мишуры лишь утверждает наивнешнейшее, что только может быть: жизнь как непосредственное господство. И то, что утрата даже этой искаженной формы такта в грубом, словно насмешка над свободой, панибратстве делает существование еще невыносимее, есть всего лишь еще один признак того, сколь невозможным стало человеческое общежитие в современных условиях.

17. Сохранение права собственности. Приметой времени является то, что ни один человек без исключения уже не в состоянии сам определять собственную жизнь хоть в скольконибудь прозрачном смысле, какой ранее был дан в оценочных терминах рыночных отношений. В принципе все люди, даже самые могущественные, суть объекты. Даже звание гене-

рала не предоставляет отныне надежной защиты. В фашистскую эру ни одна договоренность не является обязательной настолько, чтобы уберечь штаб-квартиры от бомбардировок; военачальников, продолжающих по традиции их тщательно соблюдать, Гитлер вешает, а Чан Кайши рубит им головы. Отсюда непосредственно следует, что любой, кто пытается пройти через это невосприимчивым, – а в дальнейшей жизни и так есть некая доля бессмыслицы, как во снах, в которых становишься свидетелем конца света, а после вновь выползаешь наружу из какой-нибудь дыры, – в то же время должен жить так, чтобы быть готовым в любой момент положить ей конец. Подобная печальная истина проистекает из экзальтированного учения Заратустры о свободной смерти^[37]. Свобода сжалась до чистой негативности, и то, что в эпоху югендстиля называлось «умереть красиво», редуцировалось до желания хоть сколько-нибудь умерить бесконечное унижение наличного бытия и бесконечные муки умирания в мире, где давно существуют вещи куда более страшные, чем смерть. – «Объективный конец человечности» – то же самое, только другими словами. Это означает, что единичный человек как единичный, как представляющий родовую сущность, утратил автономию, благодаря которой он мог бы претворять род в действительность.

18. Приют для бездомных. То, как сегодня обстоят дела с частной жизнью, видно по тому, где она имеет место. Собственно говоря, обитать вообще больше невозможно. Привычным обиталищам, в которых мы выросли, стало свойственно нечто невыносимое: за малейший признак комфорта в них заплачено предательством познания, за любой намек на защищенность – затхлой семейной общностью интересов. Обиталище в духе новой вещественности, задавшее новую точку отсчета, – *tabula rasa* – представляет собой либо футляр, спроектированный экспертами для невежд, либо фабричное помещение, случайно попавшее в сферу потребления, без какой-либо связи с собственными обитателями: даже тоске по независимому существованию, которого и так уже нет, такое жилище плюет прямо в лицо. Современный человек желает спать как можно ближе к земле, словно животное, как с пророческим мазохизмом провозгласил еще до Гитлера один немецкий иллюстрированный журнал и, искоренив кровать, стер границу между сном и бодрствованием. Коротающие ночь доступны в любое время и безропотно готовы ко всему, пребывая одновременно и на чеку, и в бессознательном состоянии. Тот, кто ищет прибежища в подлинных, но покупных апартаментах времен югендстиля, тот бальзамирует себя заживо. Если же хотят избежать ответственности за место обитания, поселяясь в гостинице или в меблированных комнатах, то тем самым как бы превращают навязанные условия эмиграции в изобретательный вариант нормы. Как всегда и везде, ужаснее всего приходится тем, у кого нет выбора. Они живут если не в трущобах, то в бунгало, которые на другой день могут уступить место хижинам, фургонам, автомобилям или палаткам, ночевке под открытым небом. Дом остался в прошлом. Разрушение европейских городов, равно как и создание трудовых и концентрационных лагерей, – это всего-навсего исполнение приговора, вынесенного в отношении дома имманентным развитием техники. Он годен лишь на то, чтобы быть выброшенным, подобно старой консервной банке. Возможность обитания уничтожается возможностью установления социалистического строя, которая, будучи упущенной, оборачивается для буржуазного общества незаметно подкрадывающейся бедой. Ни один человек не способен этому воспрепятствовать. Даже занимаясь созданием эскизов для мебели и внутренним убранством жилища, человек рискует развить вкус к художественному ремеслу вроде того, что присущ библиофилам, как бы решительно он ни выступал против художественного ремесла в узком смысле слова. С определенного расстояния разница между Венскими мастерскими и Баухаусом не столь уж и велика. Между тем изогнутые линии чисто утилитарной формы обособились от выполняемой функции и точно так же перешли в декор, как и первичные формы кубизма. В такой ситуации, кажется, лучше всего занять ни к чему не обязывающую, неопределенную позицию: вести частную жизнь, покуда

общественный строй и собственные потребности не терпят ничего иного, но не нагружать ее так, словно она еще обладает общественной значимостью и соразмерностью индивидуальным потребностям. Еще Ницше писал в *Веселой науке*: «И в этом даже мое счастье, что я не домовладелец!»^[38] Нынче следует добавить: быть не при самом себе^[39] у себя дома стало нормой морали. В этом проявляется нечто от того сложного отношения, в котором единичный человек состоит со своей собственностью, если он вообще еще чем-то владеет. Искусство заключалось бы в том, чтобы не упускать из виду и быть в состоянии выразить, что частная собственность больше не принадлежит человеку – в том смысле, что обилие потребительских товаров теперь потенциально столь велико, что ни один индивид уже не вправе придерживаться принципа ограничения этого изобилия; но и что, тем не менее, собственностью необходимо обладать, если не желаешь попасть в зависимость и нужду, которые лишь на благо дальнейшему слепому существованию отношений собственности. Однако тезис указанного парадокса ведет к деструкции, к холодному пренебрежению вещами, неминуемо перерастающему в пренебрежение людьми, а антитезис, не успеют слова слететь с губ, оборачивается идеологией тех, кто с нечистой совестью стремится удержать свое. В жизни ложной нет жизни правильной.

19. В дверь не стучать. Тем временем технизация делает жесты, а вместе с ними и людей, точными и грубыми. Она изгоняет из наших движений любую неспешность, любую вдумчивость, любую вежливость. Она подчиняет их непримиримым, как бы внеисторичным требованиям вещей. Так разучиваешься, к примеру, закрывать дверь тихо, осторожно и вместе с тем плотно. Дверцы автомобилей и холодильников приходится захлопывать, другие двери имеют тенденцию захлопываться сами и таким образом прививают входящим дурную привычку не оглядываться, не блюсти сохранность внутреннего, в себя принимающего пространства дома. Новому типу человека невозможно соответствовать, не сознавая того воздействия, которое непрестанно оказывают на него вещи окружающего мира, проникая вглубь до самых потаенных нервных сплетений. Какое значение имеет для субъекта тот факт, что более не существует оконных ставен, которые можно распахнуть, а есть лишь грубо сдвигающиеся подъемные окна, что нет больше плавно опускающихся дверных ручек, а есть лишь поворачивающиеся ручки-защелки, что исчезли подъездные площадки перед домом, порожки на въезде, стена вокруг сада? И кого из водителей мощность их авто не вводила в искушение раздавить всех этих уличных паразитов – пешеходов, детвору, велосипедистов? Уже в самих движениях, которые машины требуют от пользователей, заключено то насильственное, быющее, порывисто-нескончаемое, что свойственно фашистским пыткам. В отмирании опыта не в последнюю очередь виновато то, что вещи под воздействием закона чистой целесообразности принимают форму, ограничивающую обращение с ними простым пользованием, не допуская излишка ни в свободе поведения, ни в самостоятельности вещи, излишка, который остается ядром опыта, так как не поглощается моментом действия.

20. Неряха Петер^[40]. Когда Юм пытался отстоять перед своими открытыми миру соотечественниками теоретико-познавательную контемплацию, «чистую философию», издавна казавшуюся джентльменам подозрительной, он прибегнул к следующему аргументу: «От точности всегда только выигрывает красота, а от верности рассуждения – тонкость чувства»^[41]. Аргумент по сути своей прагматистский – и всё же он подспудно и негативно заключает в себе всю истину о том, что составляет дух практики. Практические способы устройства жизни, на первый взгляд как будто идущие людям на пользу, приводят к атрофии человеческого начала в условиях экономики, основанной на получении прибыли, и чем шире они распространяются, тем яростнее пресекают любую мягкость^[42]. Ибо мягкость в отношениях между людьми есть не что иное, как сознание возможности свободных от цели отношений, утешительно мелькающее даже в головах у тех, кто пленен целью; наследие прежних привилегий,

содержащее в себе обещание состояния, в котором привилегии отсутствуют. Ликвидация привилегий посредством буржуазного *ratio* в конце концов ликвидирует и это обещание. Если время – деньги, то вполне моральным представляется экономить время, прежде всего собственное, и подобную бережливость люди оправдывают учитыванием интересов других. Они прямолинейны. Любая оболочка, препятствующая коммуникации между людьми, ощущается как помеха функционированию всего аппарата, частью которого они не просто объективно являются, но в качестве которого с гордостью рассматривают самих себя. То, что, здороваясь, они больше не снимают шляпу, а бросают друг другу привычно-безразличное «Привет!», то, что они больше не пишут письма, а шлют друг другу *inter-office communications*¹⁵, в которых нет ни обращения, ни подписи, – это лишь произвольно взятые симптомы заболевания, охватившего контакты между людьми. Отчуждение проявляется в людях как раз в том, что между ними исчезает дистанция. Ибо пока они не приближаются вплотную друг к другу с намерением дать или взять, вступить в дискуссию или осуществить намерение, отдать распоряжение или исполнить функцию, между ними остается достаточно пространства для тех тонких нитей, которые их связывают друг с другом и во внешнем характере которых только и кристаллизуется внутреннее чувство. Реакционеры вроде приверженцев К. Г. Юнга кое-что из этого подметили. Г. Р. Хейер^[43] в своей статье для *Eranos-Jahrbuch*^[44] пишет: «К особой привычке людей, еще не полностью сформированных цивилизацией, относится то, что они не позволяют себе прямо затрагивать обсуждаемую тему и даже упоминать ее вскорости после начала беседы; разговор скорее должен приближаться к своему предмету по спирали, будто сам по себе». Теперь же кратчайшей связью между двумя личностями считается прямая, будто они – точки. Подобно тому, как сегодня стены домов отливают монолитно, связывающий людей раствор полностью заменяется давлением, удерживающим их вместе. Никакая иная манера общения более не воспринимается и представляется если не венским деликатесом, преподносимым с ноткой собственной официанту-распорядителю услужливости, то уж точно детской доверчивостью или непозволительным сближением. В форме обмена фразами о здоровье и самочувствии супруги, предваряющего деловые переговоры за ланчем, даже то, что противоречит порядку целей, само оказывается усвоенным этим порядком, включенным в него. Запрет на злоупотребление профессиональным жаргоном и неспособность разговаривать друг с другом – на самом деле одно и то же. Поскольку всё в мире – бизнес, то слова этого даже не произносят, как не говорят о веревке в доме повешенного. За псевдodemократической ликвидацией всяких формальностей, старомодной вежливости, бесцельных и даже не без основания почитаемых за болтовню бесед, за кажущейся ясностью и прозрачностью человеческих отношений, не допускающих более никакой неопределенности, дает о себе знать неприкрытая грубость. Прямота, с которой собеседнику без обиняков, без колебаний, без рефлексии, прямо в лицо излагают суть вопроса, уже обладает формой и звучанием приказа, который при фашизме немые отдают молчащим. Предметность в отношениях между людьми, искоренившая идеологические прикрасы, уже сама стала идеологией обхождения с людьми как с предметами.

21. Обмену не подлежит. Люди разучиваются делать подарки. В нарушении принципа обмена есть нечто бессмысленное и неправдоподобное; даже дети повсеместно теперь смотрят на дарителя с подозрением, словно подарок – лишь уловка, чтобы навязать им покупку щеток или мыла. Зато практикуется *charity* – управляемая благотворительность, которая планомерно лепит пластыри на видимые раны на теле общества. В подобном организованном процессе уже нет места человеческому движению души, более того, пожертвование неразрывно связано с унижением посредством распределения, справедливого отмеривания, иначе говоря, посредством обращения с одариваемым как с объектом. Даже вручение личных подарков низ-

¹⁵ Внутриофисные сообщения (*англ.*).

ведено до уровня социальной функции, которую люди выполняют против воли, но по велению разума, с тщательным соблюдением рамок установленного бюджета, со скептическим оцениванием другого и с как можно меньшей тратой сил. Счастье истинного дарения заключалось в том, что дарящий представлял себе, как будет счастлив одариваемый. А значит, надо было выбрать подарок, потратить время, приложить особенные усилия, помыслить другого как субъект: всё это прямо противоположно забывчивости. Именно на подобное дарение нынче почти никто не способен. В наилучшем случае люди дарят то, что сами себе пожелали бы, только малость поплоче. Упадок культуры дарения нашел свое отражение в постыдном изобретении так называемых подарочных товаров, изначально ориентированных на людей, не знающих, что бы такое подарить, потому что, собственно говоря, дарить-то они ничего не желают. Эти товары столь же бессвязны, как лишены личных связей их покупатели. Они уже в первый день оказались залежалым товаром. То же касается и возможности их обменять, что для получившего подарок означает: вот тебе твой хлам, делай с ним, что заблагорассудится, а если он тебе не подходит, мне всё равно – возьми вместо него что-нибудь другое. В то же время по сравнению с трудностями выбора обычных подарков чистая взаимозаменяемость подарочных товаров всё же представляет собой нечто более человеческое, поскольку она по крайней мере позволяет адресату подарить себе что-нибудь самому, в чем, правда, заключено абсолютное противоречие самому акту дарения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Печальная наука – аллюзия книгу Ф. Ницше Веселая наука (1882), которой автор противопоставляет свою теорию. – Т. З.

2.

существует для себя, но уже не в себе – тот, кто еще сознает себя существующим, но уже не существует как таковой, как субъект с точки зрения исторического процесса. «В себе» и «для себя» – концептуальная пара из философии Г. В. Ф. Гегеля. – К. Ч.

3.

Minima moralia – в именовании своего труда Адорно отталкивается от названия знаменитого трактата Аристотеля Magna moralia – Большая этика. – А. Б.

4.

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / пер. Г. Шпета. М.: Наука, 2000. С. 8.

5.

Там же. С. 9 (здесь и в трех следующих цитатах перевод изменен ради более точного соответствия тексту Адорно).

6.

Там же. С. 33.

7.

Там же. С. 29.

8.

Там же. С. 23.

9.

критическая теория задерживается в этой сфере – Адорно использует тот же глагол *verweilt* (задерживается), который Гегель в Феноменологии духа (1807) употребил в знаменитом выражении, переведенном Г. Шпетом как «смотрит в лицо негативному, пребывает [*verweilt*] в нем» (Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / пер. Г. Шпета. М.: Наука, 2000. С. 23). – К. Ч.

10.

для грядущего напряжения понятия – гегелевское понятие. См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. С. 36. – Т. З.

11.

Фердинанд Кюрнбергер (1821–1879) – австрийский писатель, критически изображавший американскую прагматически-капиталистическую действительность. Цитата взята из романа Уставший от Америки (*Der Amerika-Müde*, 1855). – К. Ч.

12.

Скамейка из дерна – аллюзия на песню Эмиля Винтер-Тимиана (1860–1926) У родительской могилы (1902): «Лучшее место в мире для меня – / Скамейка из дерна у родительской могилы». – А. Б.

13.

партикулярный интерес – гегельянский философский термин; здесь подразумевает частный интерес, который оторван от всеобщего и ему противостоит. – К. Ч.

14.

злополучная ячейка общества одновременно является питающей зародышевой клеткой – в оригинале «ячейка» и «зародышевая клетка» обозначены одним словом Keimzelle. – К. Ч.

15.

на смену сфере обращения – марксистское понятие. См.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / пер. И. Степанова-Скворцова, испр. Т. 2. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. С. 118–125. – К. Ч.

16.

царство истины – понятие, используемое И. Кантом. См.: И. Кант. Критика чистого разума. I. 2. 2. 3 (Об основании различения всех предметов вообще на phaenomena и noumena). – К. Ч.

17.

И. В. Гёте. Фауст. Часть I, сцена У городских ворот (пер. Н. Холодковского).

18.

Иоганн Якоб Бахофен (1815–1887) – швейцарский ученый, исследователь первобытного сообщества, автор сочинения Материнское право (1861). – А. Б.

19.

Фридрих Август Вольф (1759–1824) и Иоганн Вильгельм Адольф Кирхгоф (1826–1908) – немецкие филологи-классики. – А. Б.

20.

Жан Поль – псевдоним Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763–1825), немецкого писателя-сентименталиста. – А. Б.

21.

«идиотизма деревенской жизни» – цитата из Манифеста Коммунистической партии (1848). Ср.: «Буржуазия подчинила деревню господству города. Она создала огромные города, в высокой степени увеличила численность городского населения по сравнению с сельским и вырвала таким образом значительную часть населения из идиотизма деревенской жизни» (Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 428).

22.

«тат твам аси» – ты есть бог (санскр.); одно из четырех «великих изречений» Упанишад о самоопределении атмана («высшего Я» человека). – Т. З.

23.

Притч. 1:10.

24.

amor intellectualis – отсылка к Этике (1677) Бенедикта Спинозы, см. раздел О могуществе разума или о человеческой свободе, теорема 32: «Из третьего рода познания [интуиции] возникает необходимо познавательная любовь к Богу (amor Dei intellectualis)». – Т. 3.

25.

седиментированный опыт – опыт, усвоенный, сохраненный сознанием (ср. седиментация – букв. оседание). – А. Б.

26.

Вперед всего, дитя мое – начало популярного, положенного на музыку детского стихотворения немецкого поэта и живописца Роберта Рейника (1805–1852): «Вперед всего, дитя мое, будь верным, честным будь». – А. Б.

27.

«Лишь верностью да честностью» – вошедшая в поговорку первая строчка песни на слова немецкого поэта Людвиг Хёльти (1748–1786). – А. Б.

28.

«милых девочек» – нем. süße Mädel – девушки из венских мелкобуржуазных семей, вступавшие в свободные любовные отношения с господами из высших сословий. Такой типаж нередко выводит в своих произведениях Артур Шницлер. См., напр.: Шницлер А. Хоровод. Десять диалогов. Берлин: Мысль, 1922. – Т. 3.

29.

захаживали в «Максим» – речь идет о знаменитом парижском ресторане. В оперетте Франца Легара Веселая вдова (1905) герой поет: «Иду к „Максиму“ я, / Там ждут меня друзья, / Там жар сердечный ценят» (пер. В. Масса и М. Червинского). – А. Б.

30.

Защита, помощь и совет – клятва, которую давали в Средние века влиятельные немецкие княжества и города при заключении территориальных соглашений с более слабой стороной. – Т. 3.

31.

позор непосредственной унификации – в нацистской Германии унификация (Gleichschaltung) означала полное присоединение человека или группы людей к господствующей идеологии. – А. Б.

32.

привативное – от лат. privativus (отрицательный), здесь: то, что характеризуется отрицательностью, нехваткой. – А. Б.

33.

класс приходит к самому себе – понятие, важное для гегельянской традиции, означает снятие противоречия между внешним и внутренним, объективным и субъективным в своем существовании (о снятии как философском термине см. ниже, примеч. 47). Уже в Манифесте Коммунистической партии буржуазия понимается как разрушительная сила, но еще таковой

себя не осознающая. По мысли Адорно, теперь она сливается со своей разрушительной, бесчеловечной, уже объективно господствующей в мировой истории сущностью, тем самым «приходя к себе». – К. Ч.

34.

великому любящему – ср.: «И этот столько же любил себя, сколько презирал себя, – по-моему, он великий любящий и великий презирающий» (Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / пер. Ю. Антоновского под ред. К. Свасьяна // Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 193). – Т. 3.

35.

Гобсек родственен Эстер – Гобсек – маниакально скупой персонаж новеллы Оноре де Бальзака Гобсек (1830). Эстер ван Гобсек – поглощенная любовной страстью героиня романа Бальзака Блеск и нищета куртизанок (1838–1847). – А. Б.

36.

в кантовской субъективной реконструкции объективно обязывающих идей – речь идет о концепции имманентных идей разума из Критики чистого разума (1781) И. Канта. – К. Ч.

37.

учения Заратустры о свободной смерти – имеется в виду глава О свободной смерти в книге Ф. Ницше Так говорил Заратустра (1891). – А. Б.

38.

Ницше Ф. Веселая наука / пер. К. Свасьяна // Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 618.

39.

не при самом себе – нем. bei sich – выражение из гегелевской Феноменологии духа. – К. Ч.

40.

Неряха Петер (Struwwelpeter, 1845) – сборник назидательных стихотворений, облеченных в форму «страшилок», написанных немецким психиатром Генрихом Гофманом (1809–1894). Будучи одной из первых в истории детских «книжек с картинками», этот сборник обрел широкую популярность; в России он получил известность под названием Стёпка-растрёпка (первое издание – 1849; автор перевода неизвестен). – А. Б.

41.

Юм Д. Исследование о человеческом сознании / пер. С. Церетели // Юм Д. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 8.

42.

любую мягкость – нем. Zartheit – слово, которое употребляется для перевода понятия delicacy (англ. нежность, деликатность), использованного Юмом в цитируемом выше фрагменте. – К. Ч.

43.

Густав Рихард Хейер (1890–1967) – немецкий врач, друг и соратник К. Г. Юнга в 1920-х годах. – Т. 3.

44.

Eranos-Jahrbuch – ежегодник одноименного интеллектуального клуба, основанного в 1933 году в Швейцарии по инициативе Ольги Фребе-Каптейн (1881–1962), теософа и последовательницы Юнга. – А. Б.